

Семен Крайтман

КУНЖУТ, ОТКРОЙСЯ

* * *

в моём местечке семь часов субботы.
покинутые хонды и тойоты
стоят вдоль тротуаров.
тишина.
лежит сырая ветка на капоте,
неторопливый голубь переходит
дорогу, не оглядываясь на
пунцовые гримасы светофора.
он даже не идёт, а, словно штору
иль театральный занавес, себя
с нептичьего пути отодвигает.
вот из парадной лавочник Гедали
выходит, старый талес теребя.
пугаясь луж и тротуарных рытвин,
он к утренней торопится молитве –
сутуловатый, шмыгающий мим.
за ним идёт немой кузнец Иона,
за ним шагает грязная ворона,
за нею бортник Янкеле,
за ним
с детьми идёт чуть слышная Мария,
за ней скорняк Азария,
за ними,
в слюнях, по детски выпятив губу,
плетётся Гершке – двухметровый дурень...
мои соседи.
все, кто жил и умер,
кто вылетел в кирпичную трубу,
прервав свои нехитрые гешефты.
по радио какой-то оглашенный
из бог ты мой какого далека,
вещает о помазанье на царство,
о том, что
«невзирая на коварство...»,
«мы не сдадимся...»,
«сильная рука...».
рожки, трещотки, гусли, прибаутки,
раздольные пословицы и шутки:

на всяку пелену своя цена.
где жид прошёл, пшеница не родится.
кровь не водица.
курица не птица...
за голубем слетает голубица.
зима.
суббота.
утро.
тишина.

* * *

звезда,
зима,
бульвар скрипуч и тих.
у «Лондонского» мнутся шалашовки,
в одном капроне.
холод... ни поклёвки...
мой друг читает маяковский стих:
идите, гладьте чёрных и сухих...
(они стоят в сапожках на шнуровке,
в онучах саламандровских кровей.)
мы вам на платья солнце пришпандорим, –
кричит мой друг.
февральский ветер с моря
бежит по нашей лестнице наверх,
то через пять, то через шесть ступеней,
как иноходец,
как прыгун в длину,
взлетает, рвёт басовую струну
озябшей во дворе виолончели.
толкает в спину, прёт по головам...
и холодно нашёптывает нам:
мои смешные,
Сенин друг и Сеня,
«вот что имею я поведать вам»...
наступит лето.
зной.
степная пыль
на бархатные сядет абрикосы.
вы влюбитесь в красавицу
и после –
на вёслах – с ней пойдёте в Измаил.
вы будете так нежно уставать.
вишнёвый сахар слизывать с ладоней.

дурачиться.
 потом она утонет,
 и вам придётся долго забывать...
 потом в далёком N-ском гарнизоне
 вы пьяные заснёте на плацу,
 прослав полёт немецкого шпиона.
 потом...
 потом в пределы Завулона
 уйдёте,
 чтобы
 никогда мацу
 не покупать, не бегать в синагогу
 на праздники свои
 и понемногу
 масонскую, сомнительную морду
 учить с нуля обычному лицу.
 прислушиваться к шороху волны,
 что, словно псина, ласково картавя,
 прибрежные слюнявит валуны...
 вы будете бросать – кто дальше – гравий,
 бродить вдоль моря, подкатав штаны,
 и говорить о женщинах и славе,
 которым оказались не нужны.

* * *

у зеркала,
 в тот миг, когда плечо
 твоё распустится,
 всплывёт из лёгкой ткани,
 ты вдруг увидишь,
 что стекло течёт,
 что из каких-то злых месопотамий
 ветра вползают жаркие
 и я,
 дающий имена, стою, немея,
 на берегу прохладного ручья,
 названия придумать не умея
 тебе, твоим плечам.
 сухая тень
 вспорхнувшей птицы
 задрожит над нами,
 и ты увидишь дерево с плодами,
 ручей и облако.

«в начале».
 первый день.

* * *

черноволосяе девочки,
отличницы средних школ
имени партизанов,
пионеров и легендарных
прочих...
портфели с тряпичным, старушечьим,
болтающимся мешком
для сменной обуви.
фартуки, юбки, банты...
разбрелись по странам, по городам, мужьям,
обрекая меня в любовники, в вечные шалопаи,
в ходока по осенним, сырим, сырим краям.
но уже тогда, ничего о тебе не зная,
я писал тебе, я носил тебя на руках,
нежность моя, дуновение, утро, Сольвейг,
дурачась, смеясь,
я пытался от посторонних
глаз укрыть
свой злой, свой дождливый страх,
обронить тебя.
я смотрю, как раджпуты жгут
на песке костры,
застывшей дивясь манере
их разговора.
я беру блокнот.
появляется буква.
я говорю: кунжут,
откройся.
дверь открывается.
я исчезаю за дверью.

* * *

в кабаке, в порту проходу нет от блядей.
улыбаясь, им говоришь: мол, простите... гей.
в смысле пидор (в хорошем смысле),
ну чтоб отстали...
а у барной стойки дождливый антрепренёр
смотрит худо так, по-вечернему.
у него под тугим ремнём
на три дюйма припрятано
золингеновской, доброй стали.
ладно, сука,
попробуй дёрнись,
смелых ждут чудеса.

вот поля, где пасутся бизоны.
реки вот,
вот леса,
полные говорливой, хлопчущей в травах дичью.
и ещё цветы,
и женщины неглиже.
над зелёными листьями тёплая нежится гжель.
а вокруг пассифлора, манго,
абрикосы, гранаты, личи...
вдалеке от дома,
в креветочном злом дыму
(впрочем, дом, он повсюду)
попробуем, кто кому?
выйдем к пирсу,
под скользкие, йодом пропахшие сваи...
поглядим на звёзды, так оно веселей.
и падём смертью храбрых,
потому что других смертей
не бывает, пацан.
не бывает.
других смертей не бывает.

* * *

десяти мужей не нашлось.
не хватило двух.
служба сбивался, путая звуки букв.
я хотел позвать землекопов.
их было трое,
изменявших дождливый, мраморный, злой пейзаж, –
бородатый Шлиман,
проникший в сырой трельяж
укрывавших мир промокшей, тугой землёю.
но зачем мне чужие люди,
уж как-нибудь...
и не в цифре суть,
и даже не в слове суть.
а потом проступило солнце,
и вот разжались,
как уставшие пальцы, тучи,
и небеса,
словно женщина,
в женской судороге
закрывающая глаза,
светлели, текли,
взлетали, преображались.

* * *

мой сын говорит: тщета...
говорит: томление ветра.
из Ливана привозит кедр, золотые слитки
из Офира...
всему своё время, учит.
когда кончается лето
и воздух сыреет,
вспоминая о первой битве,
ноет плечо.
– маленький мудрый мальчик,
убийство тоже неслабая повитуха.
я брожу по берегу моря,
вдали маячит
дождь.
из орудий струнных, доступных слуху,
он один и остался.
начальник хора
давно ушёл на войну и пропал без вести.
темнеет. дымит луна.
пора возвращаться в город.
вот такие псалмы, сынок,
вот такие песни.

* * *

их гибель ждёт.
им не бывать стихом.
не всплыть, не проноситься косяком,
как рыбам по волне.
так получилось –
они себе знакомые едва.
придонные, ослепшие слова.
беззвучие и непроизносимость...
семь дней назад я хоронил отца.
мне повезло не видеть нелица.
таков закон.
в растоптанных сандалях
увесистый мужик прочёл кадиш.
вспорхнула птица, пробежала мышь.
захлопнулся словарь толковый Даля.
стояли люди в траурных очках,
а я бубнил куплет про Пятачка:
«куда идём... секрет...»
молитве вторя,
на саване покачивал шнурок
осенний, невесомый ветерок,

с косичками, девчачий, рыжий, с моря.
он забавлялся запахом сетей
рыбацких,
криком
женщин и детей
на берегу...
газетных объявлений
пинал клочки:
«меняю мумиё...»,
«туристка ищет скромное жильё...»,
«потомственный целитель, маг и йог
раскроет тайны ваших сновидений...»

* * *

взывайте к Эолу!..
устали гребцы.
обмяк,
словно печёное яблоко, парус.
над ним парит
солнце, как гриф,
и, видимо, нет итак,
нет ленинградов, одесс, феодосий, риг...
я придумал войну, жену, сыновей, ката,
фотографии не узнавших меня времён,
не узнавших мест.
море не дышит.
нет никаких итак.
никаких феодосий, риг, никаких одесс.
солнце как гриф.
море.
корабль завис
над горячим небом.
боги в своём саду
спят.
и сирены шепчут: Улисс, Улисс...
как слепые, вытянув руки.
иду,
иду.

* * *

а потом я услышал заклинания псалмопевца.
солнце уже упало, но камень успел нагреться
так, что на расстоянии метра был виден жар,
от него исходящий.

стояли вокруг фигуры
женщин, мужчин,
вчерашних жителей Ура,
Халдейского Ура,
из которого я бежал.
псалом двадцать третий:
...поднимите врата... затворы
уберите.
кладбищенский заклинатель, начальник хора
смахивает со лба
жирный прозрачный рис.
неподалёку урчит бульдозер, возясь с землёю.
похожий на куколку бабочки позднего мезозоя,
ожидая её появления, качается кипарис.
а потом я услышал молчание, и желание плакать,
и звук стрелы, наткнувшейся на сырую мякоть
дерева в тихом лесу.
а потом я решил взглянуть
на дома по соседству.
в домах пили чай с вареньем
абрикосовым или вишнёвым,
а может, ревеновым.
впрочем, это совсем неважно.
не суть, не суть...

* * *

от земли неффалимовой, от севера, вдоль реки,
мимо жёлтых холмов, камней, мимо трав сухих,
где оса гудит, прячась в тени развалин,
тысячелетним солнцем осыпанных городов
(не следы остались от них, но следы следов,
впрочем, и их – без остатка почти
склевали
молчаливые птицы),
вдоль реки, где, пылясь, лежит
на камнях лоза,
и нагретый тугой инжир,
лопаясь, протекает сахарною слезою,
и золотистое марево спускается с гор ползком,
заполняя воздух мёдом и молоком,
вернее, не молоком,
а каким-то белёсым аэрозолем,
я пройду.
вдоль реки...
через месяц ли, через год,

через день, когда
мой друг наконец умрёт
и ветер сухой вздохнёт
и рванётся следом
за ним... и горе
станет несбыточным, как мечта,
как ночная июньская звёздная высота,
как любовь, как слово,
как и всё, что связано с небом.

ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ

я знаю эти времена.
куда ни глянь – всё с бодуна:
певец, монах, дурак, дорога...
чернильный «север» на плече,
на рваной майке морда «Че».
– а ты, чернявый, здесь зачем?
рвани очко ему, Серёга.
дождь с прелым запахом беды.
набрав в карманы лебеды,
стоят имперские жида
и от меня воротят лица.
– насущный хлеб наш дай нам днесь...
и язя съесть, и на хер сесть...
и в перерыве перечесть
«Онегина».
и умилиться.
я знаю эти времена.
когда живёшь так долго на...
на этом свете – всё не ново.
со стороны, какая связь?
дорога та же, та же грязь,
и те же «временные – слазь»,
и тот же жест, и то же слово.
но всё же.
глядя на холмы
других времён, другой страны,
сухими звёздными ночами
я вижу птиц –
крыло, крыло... –
в обсидиан и серебро
влетающих:
...глагол, добро...
все тридцать три мои печали.